

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Т52

Художник — *Екатерина Фerez*

В оформлении переплета использован фрагмент картины  
*В. Борисова-Мусатова «Весна» (1898–1901)*  
из коллекции Государственного Русского музея

**Толстая, Татьяна Никитична.**

Т52 Невидимая дева / Татьяна Толстая. — Москва :  
Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной,  
2019. — 471, [9] с. — (Эксклюзивная новая клас-  
сика).

ISBN 978-5-17-118333-2

В книгу «Невидимая дева» вошли как известные, уже  
успевшие стать классикой рассказы Татьяны Толстой, так и  
новые, не публиковавшиеся ранее тексты: повесть «Невиди-  
мая дева» и рассказ «Учителя».

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Толстая Т.Н.  
© Государственный Русский музей, Санкт-Петербург  
ISBN 978-5-17-1183332 © ООО «Издательство АСТ»

Эта книга — дополненное и расширенное издание моего сборника «Ночь».

В эту «Ночь», в отличие от остальных книг, я собираю тексты более художественные, — не сиюминутные, не злободневные.

Сейчас я добавила сюда маленькую повесть «Невидимая дева», а также отрывок из воспоминаний — «Учителя». Он примыкает к повествованию, которое я назвала «На малом огне» (напечатано в сборнике «Легкие миры»).

Эти два текста пересекаются. В них мне захотелось вспомнить про дорогих мне людей, а про тех, кого любишь, можно вспоминать без конца, и каждый раз по-разному. Вот я и вспоминаю о них по-разному.

Есть воспоминания утренние, легкие и светлые. Есть вечерние, золотые, — они тяжелее, и это окрашивает тех, о ком вспоминаешь. Бывает вообще ночной мрачняк и депрессняк.

Какими были эти люди на самом деле? Хорошими? Сложными? Добрыми? Раздражительными? Не знаю! Они были любимыми, они — были, и вот я пишу про них, вертя их и так и сяк.

И еще напишу.

*Татьяна Толстая*



# Невидимая дева

На дачу мы заезжали в несколько приемов.

Сначала — когда сходили последние черные корки снега, а это мог быть апрель или ранний май, — ехала мама. Иногда она брала с собой меня, для помощи, но помощи от меня всегда было мало. Я была толстая, мечтательная и чрезвычайно ленивая; ни одно из этих качеств не годится для активной работы в саду. А уж тем более для того, чтобы тащить дрова из сарая или воду с озера. На это мама даже не рассчитывала. Она вообще ни на кого из нас не рассчитывала и делала все сама. Ее молчаливое трудолюбие должно было послужить нам укором, уроком и примером. Но не послужило.

Мы входили в сырые комнаты, чудесно пахнущие лежалыми льняными скатертями, перезимовавшими одеялами, фанерой стен, старым клеем, выступившим на столах и стульях от влаги, старыми резиновыми сапогами, сосланными сюда, за город, для черных работ. Мама входила первой, светила фонариком, отстегивала шпингалеты на фа-

нерных щитах, закрывавших окна, мы вдвоем снимали эти тяжеленные щиты, и заплесневелые комнаты освещались солнцем. Мы распахивали окна, острый уличный воздух входил в дом, нас охватывал озноб, и не хотелось ничего делать, а хотелось пить на веранде сгущенный кофе с молоком, банку которого мы привезли с собой из города.

А мы так и делали. Мама нарезала сыр и хлеб, мы садились в скрипучие плетеные кресла и, щурясь, смотрели в сад сквозь стекла простые и стекла цветные. Цветных было два: кроваво-алый ромб — за которым весь мир представлялся бледно-земляничным, вываренным, как ягоды в компоте, и ромб зеленый, в любой момент создававший иллюзию июля.

Потом мама шла растапливать печь, кипятить воду для уборки, таскать тяжести или двигать мебель, а я делала что-нибудь ничтожное: выдвигала ящик старинного буфета и нюхала старую бумагу, например. Или листала чьи-то забытые блокноты, надеясь среди хозяйственных записей (пачка соды, сах. 5 кг, позв. А.Ф. фтизиатра Мусе, К2-14-68, тесьма корич.), — напрасно надеясь найти какое-нибудь таинственное имя, страстный вздох, отпечаток чужой любви.

Я зависала над каждой книжкой на полке, которую взялась разбирать. А разбирать каждый раз приходилось, потому что зимой на даче жили крысы, питавшиеся подшивками «Нового мира» и французскими романами, написанными в начале Пер-

вой мировой войны. Крысы ели клейстер, которым в былые времена проклеивали корешок, обгрызали канву, на которой держался переплет, обсасывали голубые ленточки, служившие закладками. Синтетический клей они не ели, а крахмал — за милую душу. Так что надо было перебрать обгрызенное, вымести крысиный помет, протереть полочки.

Времена были оттепельные, «Новый мир» печатал всякое такое смелое и актуальное, но для меня не интересное; французские же романы, неизвестно какими путями занесенные на дачную полку, пели о вечном: обжигающая эротика, нагота женщин, коварство и измены мужчин. Когда вам тринадцать лет, эта тематика — в самый раз. И подталкивает к изучению французского.

Один роман, например, назывался *L'eclat d'obus* — «Взрыв снаряда». Как я теперь понимаю, это была такая метафора: вон тот красавчик с зеркально зализанными волосами и торчащими усами (картинка), в белых брюках, испытал взрыв чувств к вон той изящной даме-статуэтке с невероятными волосами и в огромной шляпе (картинка). Или она к нему испытала. Короче, взаимное бурление страсти, преступные (разумеется) объятия, кружева, приоткрытый ротик с двумя кроличьими зубками, — а потом горечь прозрения, заведенные к потолку глаза: мон дьё, как я могла быть так неосмотрительна?.. заламывание рук и прочие волнующие французские действия, а ты тут таскай дрова, обутая в резиновые сапоги.

Одна из картинок особенно нравилась. Подпись к ней гласила: «Он жадно смотрел, как она смело входит в море, не стесняясь своей почти полной наготы». Между тем, «она» была одета в полноценное платье с длинными рукавами, с глухим воротом, подол она подобрала, залезая в воду, и под платьем обнаружились полосатые панталоны ниже колена, — видимо, они и были наготой; на голове у нее тоже было наверхено будь здоров. В море, в слабой кружевной волне, виднелись колесные кибитки для купания, — из них несмело выглядывали более робкие и стыдливые девы. Год издания — 1914-й. Последнее мирное лето.

— Мам, что значит *les cris de passion*?

— Крики страсти, — сдержанно отвечала мама. — Оставь эту чепуху и пойдешь лучше поработай граблями.

Но картинка, на которой, судя по подписи, и раздавались эти волнующие крики, была грубо вырвана, и от пышноволосяной *Claudine* осталась только кучка кружев на полу да резная нога кровати, на которой ею овладевал невидимый *Albert* с усами. Как всегда, самое ценное, самое предосудительное было вырвано.

Во вторую очередь на уже прибранную и вымытую дачу привозили детей и няню. Дом уже стоял теплый, протопленный, пах жареной картошечкой и баночной тушенкой, горячим компотом из сухофруктов — домашнее, уютное, надежное; всех

накормим, всех согреем. Топилась дровяная плита; краткими сеансами, экономя баллоны, включали газовую, и вечно стояла под парами электрическая двухконфорочная, невыносимо медленная плитка, на которой мелкими буквами были начертаны как бы мантры: «Только левый — слабый нагрев, только правый — средний нагрев, оба вместе — высокий нагрев».

Няня ставила на окно привезенную из Ленинграда трехлитровую банку с «грибом», укрытую стираной марлечкой, — с первого дня своего рождения и до дня няниной смерти я смотрела в ленинградское кухонное окно на серый шестиэтажный дом напротив, на школьный двор с волейбольной сеткой, на бесконечно далекие, спичечно-тонкие трубы Выборгской стороны не иначе как через этот гриб, через эту банку, через янтарное болотце, поверх которого лежал одутловатый, бледный, толстый, слоистый блин. Он был живой. Его надо было заливать слабым свежим чаем с ложкой сахара. Дня через три чай превращался в жгучий, щиплющий желтенький напиток, — был он якобы необычайно полезен. Где кухня — там гриб; где гриб — там забота, любовь, кормление и тревога. Гриб, гриб залить!.. Гриб заливали?..

Он был как еще один ребенок в нашей семье, — вот нас семеро, и гриб. Мы, благополучно родившиеся с ногами, руками и глазами, — и он, недоношенный, безглазый, неспособный не то что про-



ползти, — шевельнуться неспособный. Но живой. И наш. Нянин ребенок.

(Потом, когда няня умерла, о нем некому стало заботиться. Кто-то из сестер взял его себе, но правильно кормить его забывали, он стал хиреть, как-то помутнел, разложился и умер.)

Няня ставила гриб на дачный подоконник; в соседю ему назначался лук, окунувший белое мочало корней в майонезную баночку с водой; там же сохли стеклянные банки из-под венгерского горошка «Глобус» и томатного соуса, который няня называла «красный» и никак иначе. Кухня была темной, бессолнечной и глухой, потому что нашу дачу строил дурак.

Все солнце, весь ветер, все цветы были там, за окном.

Там, за окном начинался соседский участок, который был для нас почти что родной, но уже недоступный. Там, у соседей мы долгое время снимали комнаты — первый этаж, — пока мама не купила эту нашу построенную дураком дачу. Участок был огромный: на нем было картофельное поле, и дикое поле с голубыми колокольчиками, и «третье поле», на котором ничего специально не росло, — оно просто было; и яблоневый сад, и сиреневый сад, и огород с кабачками, и заросли желтой акации, и рощица сахалинской гречихи, и необыкновенная береза, исполинского роста и обхвата, и еловый лес, спускавшийся с холма на запад, и сосновый пере-

лесок, спускавшийся с холма на восток; в сосновом перелеске под толстым слоем рыжих иголок еще были слабо видны, словно заросшие чемоданы, очертания некрупных могил: прежний, изначальный хозяин хоронил там своих любимых собак. Все это, весь этот мир когда-то был нашим, а теперь был отгорожен проволочной сеткой и хода туда больше не было.

На вершине холма стоял сам дом — Белый Дом, как мы его называли. Про Белый Дом рассказывали так: много лет назад, в конце XIX века, на этот узкий перешеек — язык земли между двух озер, — приезжал охотиться некий господин Дмитриев со своим сыном. Сыну так понравился сосновый лес, песчаные озерные берега и заросли иван-чая и черники, что он сказал отцу: «когда я вырасту, я построю себе здесь дом». Дмитриев-сын вырос, стал инженером, разбогател и купил себе перешеек; на одном сосновом холме он построил охотничий домик (я его еще застала, потом он сгорел), а на другом — Белый Дом. Вход в охотничий домик был с маленького крылечка, и над входной дверью были прибиты оленьи рога. А у Белого Дома было две террасы: черная с тылу, для входа людей и вноса предметов и запасов, и белая парадная, нарядная терраса с белыми колоннами; колонны были деревянными, а сверху — штукатурка. Второй этаж — мезонин. Говорили, что фасад этот — копия декорации, изображающей дом Татьяны Лариной в постановке оперы «Евгений Онегин» 1915-го года.

Если ты — девушка с косой, в возрасте томления и ожидания, и стоит белый вечерний июнь с немеркнущим светом, и никто не спит, и смерти нет, и в небе словно бы музыка, — хорошо тогда выйти постоять на такой террасе, обняв белую штукатурку колонны, и смотреть, как от ступеней вниз стекает море цветущей сирени, и вдыхать запах этой белой, сумеречной пены, и запах своего чистого тела, и запах своих волос. Потом жизнь обманет, но это уж потом.

Мы там жили на первом этаже, и я помню таинственную тень проходных комнат, голландскую печку с простыми темно-зелеными изразцами, гладкими, без рисунка; по чьей-то ошибке или прихоти две кафелинки были темно-синими, и это несовершенство рождало жалость, а значит, любовь; помню рукомойник с тазом на тумбе и с облупленным кувшином; помню полукруглые окна мезонина, — в мезонине уже были не наши комнаты, и пахли они не по-нашему, мы туда поднимались в гости по лестнице, выкрашенной серо-голубой краской; там на втором этаже между рамами стояли небольшие стаканчики с густо-багровой и густо-мандариновой жидкостями; назначение их я знала, но забыла. Говорили, что это какие-то яды — то ли чтобы не было мух, то ли чтобы стекла зимой не замерзали. В детстве я боялась слова «яды», да и сейчас я его как-то не очень. Яд представляется мне жидкостью цвета портвейна, с душным приторным запахом микстуры «пертуссин».

Еще там было трюмо, — меня поразило это ночное какое-то слово: «трюмо», — а на стене на крючке висел бледно-лиловый халат тети Веры, халат цвета вздохов, цвета белой ночи, шепота и нездешних волнений. Он пах так прекрасно, что сердце останавливалось. Он пах Белым Домом, 1914 годом, далекими, нетронутыми лесами.

Холм, на котором стоял Дом, стекал, стало быть, на восток и на запад; на востоке, всё в соснах, волновалось большое синее озеро Хеппо-Ярви, еще никем не испорченное и не замусоренное: худшее, что можно было найти на прекрасном озере Хеппо-Ярви, это заросли ольхи — сорный, противный кустарник; на листьях его, с изнанки, росли какие-то красные точки, как бородавки.

На западе — по крутой тропинке вниз с холма — тихо лежало маленькое черное озеро — вернее, залив или загиб большого, но мы его называли Маленьким озером и понимали его как отдельное, младшее, самостоятельное озерцо. На нем росли желтые, пахнущие русалками кувшинки — если свесить с лодки руку, погрузить ее в воду поглубже и правильно рвануть, — можно было выдернуть кувшинку вместе с двухметровым стеблем, а правильно надрывая стебель, можно и нужно было сделать себе мокрые, холодные бусы. Вечером над маленьким озером, над его черной зеркальной водой долго горел желтый финский закат и черными резными зубцами стояли елки. (Еще пару мухоморов под ноги — и картинка Билибина